

Татьяна Венедиктова

Эмпатия: игла и нить, ловушка и тропа

DOI: 10.53953/08696365_2023_184_6_426

Veprinska A. Empathy in Contemporary Poetry after Crisis.

Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020. — X, 203 p. —
(Palgrave Studies in Affect Theory and Literary Criticism).

Hogan P.C. Literature and Moral Feeling: A Cognitive Poetics of Ethics, Narrative, and Empathy.

Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2022. — X, 306 p. —
(Studies in Emotion and Social Interaction).

Об «этическом повороте» в литературоведении (англо-американском) было объявлено в 1990-х гг.¹ Как любой из «поворотов», объявлявшихся до и после, и этот тоже на проверку оказался переоткрытием хорошо знакомого. Этическая озабоченность свойственна литературе, и проблематика эта обсуждалась в связи с литературой, кажется, во все времена. Какие же новые оттенки или сдвиги обозначились тридцать лет назад — настолько, что побудили коллег говорить о «повороте»? Они особенно заметны на фоне господствовавшего в 1970—1980-х гг. увлечения рецептивной эстетикой, склонной (скорее в американском варианте С. Фиша, чем в немецком — В. Изера) прославлять активность читателя, способность читательских сообществ к свободному, по сути, переизобретению текста. Теперь же акцент переносится на сопутствующую свободе обязанность бережно вслушиваться, фокусировать внимание на Другом. Текст не отдается нам во власть, но окликает нас и предъявляет этические требования, которые могут быть нелегкими, поскольку чреваты отречением от привычно-удобных представлений. Требовательность должна быть оправданна, поэтому говорить следует о совместном этическом поиске, в который по-разному вовлечены автор и читатель. Таков общий контур этико-эстетической проблематики, которая дебатруется уже на протяжении полувека². И вот перед нами еще две книги, продолжающие эту дискуссию.

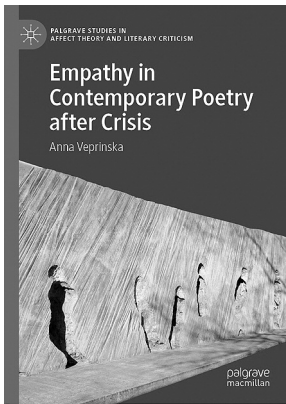
У них очень разные авторы. Анна Вепринская — начинающая исследовательница, вчерашняя аспирантка (сейчас — преподаватель Университета Калгари), поэт, и озабочена она исключительно поэзией. У Патрика Колма Хогана за спиной долгая академическая карьера, а круг интересов отображает все основные тренды последних десятилетий: это и постколониальные и когнитивные штудии, и пост-

1 См.: *Buell L. In Pursuit of Ethics // Proceedings of the Modern Language Association. 1999. Vol. 144. No. 1. P. 7—19.*

2 См. ряд ключевых публикаций: *Cahn S.M., Markie P. Ethics: History, Theory, and Contemporary Issues. N.Y.; Oxford: Oxford University Press, 1998; The Turn to Ethics / Ed. by M. Garber, B. Hanssen, R.L. Walkowitz. L.; N.Y.: Routledge, 2000; Mapping the Ethical Turn: A Reader in Ethics, Culture, and Literary Theory / Ed. by T.F. Davis, K. Womack. Charlottesville; L.: University of Virginia Press, 2001; The Moral of the Story: An Anthology of Ethics through Literature / Ed. by P. Singer, R. Singer. Oxford: Wiley-Blackwell, 2005; Ethics and Literary Practice / Ed. by A.Z. Newton. Basel, Switzerland: MDPI, 2020.*

классическая нарратология, и сравнительное литературоведение, открывшее для себя идею «всемирности». Объединяет двух авторов усилие подвергнуть систематизации то, что ей сопротивляется слишком даже успешно, — чувство эмпатии, рассмотрев это чувство в двух проекциях: этической и литературно-эстетической.

Эмпатию, то есть способность со-пережить сложную эмоцию, разделить ее с другим, обнаруживает, кажется, только человек (в отличие от интеллекта искусственного или божественного). Акт эмпатии предполагает движение чувства и воображения и потому сродни путешествию. В английском слове *empathy* Вепринска предлагает разглядеть английское же слово *path*, чтобы полнее представить эмпатию как прокладывание тропы во внутренний мир другого субъекта, в принципе недостижимый. Со времен Адама Смита эмпатия (или симпатия, ее близкая родственница³) считается важнейшей составляющей морали. Но в ней же, как ни парадоксально, можно усмотреть семя имморализма — возможность незаконной апроприации (чужого) опыта, эстетизации (чужого) страдания. Отсюда центральное, подчеркнуто оксюморонное понятие книги: *эмпатический диссонанс*. Именно двойственность, противоречивость эмпатического опыта более всего занимает автора, и ближе к концу исследования (с. 187) она находит для своего предмета яркую обобщающую метафору: эмпатия — нить и игла; она одновременно соединяет и пронзает, сшивает и колет, обеспечивает согласование и плодит разлад.



Так или иначе, эмпатия не основной фокус книги, а одна из вершин проблемного треугольника, в котором предлагается поработать; две другие — *кризис* и *поэзия*. Под кризисом имеется в виду катастрофа, превосходящая масштаб индивидуальное бедствие, социальная или природная (разрушительность последней нередко усугубляется людскими безразличием и предрассудками). Из множества катастроф для изучения выбраны три: холокост, террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. и ситуация в Новом Орлеане, атакованном ураганом «Катрина» в августе 2005-го. Почему именно эти? Были ведь в истории XX в. и другие случаи геноцида (в Армении, Руанде и т.д.), были цунами в Японии, Чернобыль на Украине,

разрушительные землетрясения, крушения и теракты в самых разных точках земли. Дважды (в Предисловии и потом еще раз в Заключение) Вепринская задается вопросом о возможной предвзятости собственного выбора, но внятного ответа вопрос не получает. Нельзя не заметить, конечно, что речь идет о кризисах, широко «раскрученных» глобальными СМИ, ставших предметами «паблисити», а в последние годы — даже маршрутами так называемого темного туризма (*dark tourism*, или *disaster tourism*). Последнее обстоятельство только усугубляет проблемность ситуации, ведь надо еще понять: что порождает спрос? Что заставляет людей устремляться к местам массовой гибели других людей? Любопытство ли к травматическому опыту? Желание (явное) почтить память погибших? Или желание (неявное) самоутвердиться на этом фоне? Вепринская вспоминает (во Введении), что точкой зарождения ее исследовательского проекта стало посещение ею самой — и в рамках как раз образовательного тура — одного из мемориалов холокоста в Германии. В какой-то момент она остановилась, замороженная странным зрелищем.

3 Если Смит не дифференцировал эти переживания, то современные исследователи склонны их различать: одно дело — сим-патизировать, то есть чувствовать вместе, другое — чувствовать внутрь, распространяя себя в пространство другого.

Туристы, как и положено туристам, запечатлевали себя на фоне достопримечательности: в данном случае — на фоне двойного ряда колючей проволоки, причем фотографом был отец, а моделью — его сын-подросток, очень жизнеподобно изображавший жертву. Тогда-то автор будущей книги и задумалась о двусмысленности эмпатии, усугубляемой еще тем, что она нередко эксплуатируется политиками, а при возможности и монетизируется туриндустрией. Осознание этих обстоятельств тем более обязывает к рефлексии, к пристальному изучению социально-этических аспектов этого сложного переживания.

Что же и как имеет сказать о кризисной ситуации поэт, не будучи ни репортером, ни документалистом, ни даже (зачастую) очевидцем? Опыт эмпатии родствен эстетическому, лирическому опыту глубиной и интимностью контакта с другим, готовностью переживающего вложить в разработку этого контакта время и бережное внимание. В очередной раз цитируя тезис о том, что после Освенцима нельзя, невозможно писать стихи, Вепринская «надстраивает» формулировку Адорно: *нельзя писать как ни в чем не бывало*, не делая усилий честно отрефлексировать ситуацию, возникшую «после». Поэзия не предоставляет свидетельских показаний и не рассказывает, как правило, историй, но по-своему удерживает *качество* опыта. Поэтому «поэтическое свидетельство» — отнюдь не противоречие в терминах.

Немалый труд был вложен в поиск и отбор материала — разноязыких поэтических высказываний, произведенных в разное время по поводу трех обозначенных выше кризисов. Но собрать материал — четверть дела, его надо еще организовать и осмыслить, не подвергнув при этом аналитическому насилию, что при работе с проблематикой столь деликатной, увы, вероятно. В каждой из трех глав Вепринская рассматривает по пять-шесть стихотворений — как знаменитых поэтов (Пауль Целан, Шарлотта Дельбо, Вислава Шимборская, Чарльз Резникоф), так и малоизвестных. Разборы впечатляют пристальностью, а формулировки, использованные в названиях глав, — краткостью и подчеркнута негативной формой: «Не-сказанное» («The Unsaid»), «Нездешнее» («The Unhere»), «Небожественное» («The Ungod»). Во всех случаях приставка «не-» служит косвенным указанием на внутреннюю амбивалентность эмпатического опыта. Во-первых, эмпатия ищет выражения в слове, но бежит риторике, а потому живет по преимуществу в фигурах умолчания; это способ почтить память жертв и в то же время компенсировать хотя бы отчасти их немую, безмолвную анонимность. Во-вторых, поэтическая эмпатия подразумевает усилие приблизиться к опыту, имевшему место не сейчас и не здесь, отделенному от пишущего непреодолимой дистанцией. Непосредственность вчувствования подразумевает сложные формы опосредования — она, можно сказать, иллюзорна. В-третьих, в ситуации кризиса человек особенно отчаянно пытается вообразить божественное присутствие, его рука тянется за поддержкой к божественной руке (Вепринская вспоминает «Рождение Адама» Микеланджело), и в этом жесте воплощается как острейшее желание трансцендентной эмпатии, так и ее недостижимость. «Небог» — фигура высшего отсутствия, а если и присутствия, то дразняще-неочевидного.

Конкретному анализу стихов, — а он в этой книге самое интересное — трудно отдать должное в рецензии. Приведу лишь пару точечных примеров. Авторы стихотворений, созданных по следам «9/11», очень нередко селятся отождествиться в воображении с одной из жертв, например с кем-то, кто в последний раз звонит любимому человеку из обреченного самолета, или с кем-то, кто предпочитает смерти от удушья последний полет из окна горящего здания. «Если бы я оказалась поймана в одной из тех башен // И при мне был мобильник...» — так Сюзен Биркеланд (Susan Birkeland) начинает «Поэму Иисуса» («Jesus Poem»), вошед-

шую в поэтическую антологию «Око за око — ослепнет весь мир» (2002)⁴. Дальнейшая гипотетическая конструкция вбирает в себя проекцию основных христианских ценностей — любви, благодарности, прощения, ненасилия, веры: «...Я позвонила бы сестре и брату / и сказала им, что любила жизнь, / любила их и всегда буду и / что я благодарна всем за добро и еще / что не надо мстить / или требовать мести, / пусть в моей смерти пребудет достоинство моей веры. / А потом я ступила бы в воздух, / в зияние подо мной, / чтобы в последний раз в жизни пасть. / Трудно сказать, что бы я чувствовала, / удивление, озадаченность, ужас, величие момента, / но верю — не гнев. / В последний момент / уже ничего не исправить / и ни к чему пенять на скорость падения. / Я воображаю, что исполнилась бы / чего-то большего, чем ужас, / чувства / (насколько его можно представить из того положения, что мы занимаем сейчас) / невыносимой ясности» (с. 160—161). Вепринская задается вопросами: почему эти строки, написанные через полгода после катастрофы и на противоположном от Нью-Йорка конце континента, будучи исполнены эмпатии и несомненной доброй воли, производят на читателя впечатление скорее своевольной «апроприации» чужого опыта, едва ли не символического насилия? И изменится ли этот эффект спустя годы, при чтении на еще большей дистанции?

Кэти Форд (Katie Ford) сама была в Новом Орлеане, когда на город обрушился ураган. Ее стихотворение «Убегая» («Flee»), опубликованное в 2008 г., но написанное, вероятно, еще в 2005-м, бережно анализируется в его метафорической составляющей: свет (природный? или божественный?) как будто обещает бегущим из города людям спасение, но он же знаменует отстраненность от их страдания. Светлая тишина немо подразумевает встречный вопрос: «какого действия вы от меня ждете / я не человек / я дал вам друг друга / чтобы спасти друг друга» (с. 174). К мысли о том, что эмпатия — свойство слишком человеческое и никак не божественное, поэтому противоречивое, как сам человек, Вепринская возвращается в своих разборах снова и снова. Призывы «спасаться» эмпатией, наращивая ее объем («больше эмпатии!»), у нее вызывают скепсис: это не решение, не панацея и даже не лекарство от социального зла. В контексте групповых отношений, кросс-культурных и транснациональных, часто «отравленных» властным неравноправием и соперничеством, призывы к эмпатии часто ведут в тупик⁵.

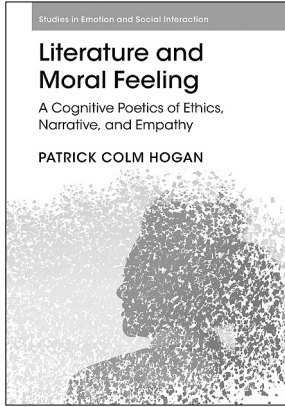
Очень симпатичен в книге снова и снова возникающий момент саморефлексии. Автор переспрашивает себя: не осуществляю ли я сама, пусть невольно, неподозволенный акт эмпатической апроприации? Как от этого предохраниться и можно ли вообще? В финале книги нас предсказуемо ждет «Незаключение» («Unconclusion»). Сама природа изучаемого явления — эмпатического диссонанса — делает однозначность вывода невозможной или этически сомнительной. Стихи, вдохновленные глубоким со-страданием, всегда непредсказуемы в потенциальном воздействии⁶.

4 An Eye for an Eye Makes the Whole World Blind: Poets on 9/11 / Ed. by A. Cohen, C. Matson. Berkeley, CA: Regent Press, 2002.

5 См. об этом: Pedwell C. De-colonising Empathy: Thinking Affect Transnationally // Sa-myukta: A Journal of Women's Studies. 2016. Vol. XVI. No. 1. P. 27—49.

6 В самих поэтических текстах понятие эмпатии не упоминается почти никогда, а когда упоминается, оказывается вызывающе проблематично. Пример — стихотворение Фрэнка Байгарта (Frank Bigart) «Проклятие» («Curse», 2002), завершающееся строкой: «Из великой тайны морали, воображения, позволяющего побыть в теле другого человека (under the skin of another), я создал проклятие» (с. 187). Эмпатия здесь ассоциируется с едкой кислотой, предназначенной для того, чтобы выжечь ту горделивую праведность, которой были вооружены террористы-насилыники, то есть сама превращается в зеркальное насилие.

Изучать эмпатию — значит практиковать ее, а практиковать — значит упорно думать о формирующемся при этом отношении.



Патрик Колм Хоган — заслуженный профессор Коннектикутского университета, автор двух десятков книг, в названиях которых устойчиво фигурируют такие понятия, как интерпретация, эмоция, аффект, дискурс, идентичность, нарратив, колониализм⁷. Что до рецензируемой монографии, то широта ее замысла отобразилась в труднопереводимом названии: автор намерен трактовать проблемы этики, эмпатии и нарратива в свете когнитивной поэтики. Общую конструкцию аргумента можно представить следующим образом. Наши действия всегда так или иначе мотивированы, заинтересованны, в них участвуют эмоции. Этика — усилие ограничить меру эгоцентризма в наших мотивациях и действиях. Этическое поведение

подразумевает напряжение (не обязательно конфликт) между личным и общим благом, оно трудно именно потому, что аллоцентрично, то есть направляется заботой о целях, нуждах, счастье других людей. Эмпатия подлжит исследованию как центральное понятие этики и одновременно как «форма активирования эмоциональных систем» (с. 56).

К описанию норм этики в их культурно-исторической вариативности и одновременно универсальности Хоган предлагает подступить, используя в качестве инструмента понятие *нарративного прототипа* или *прототипического жанра* повествования (*прототип* здесь одновременно система эмоций и комплекс этических ценностей). Работа в направлении жанровой типологии не завершена, и на данном этапе предлагается говорить о трех группах. В первую входят истории подвига, истории мщения и истории криминального расследования. В этих жанрах акцентированы ценности, связанные с социальной иерархией и порядком, и главенствуют такие эмоциональные состояния, как гордость (нередко оттеняемая стыдом или гневом) и верность. История подвига связана с групповой идентичностью, каковой внешняя сила немотивированно наносит ущерб, герой же этой силе противостоит и, как правило, побеждает; счастливый финал сопровождается скорбно-критическим эпилогом, напоминанием о понесенных попутно жертвах — в отсутствие, впрочем, переживаний вины и раскаяния. В истории мести протагонист также идеализированный представитель группы, страдающий от понесенной потери, обмана или предательства. Ситуация здесь более амбивалентна: акт мести чреват ошибками, и мститель может оказаться опаснее для окружающих, чем те, кому он противостоит; в финале читатели/зрители исполнены сочувствия к нему, но также и критики. Третий тип истории также начинается с ущерба, нанесенного социуму; это влечет за собой расследование обстоятельств преступления (герой-

7 Вот очень неполный список: *Hogan P.C. The Politics of Interpretation: Ideology, Professionalism, and the Study of Literature*. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 1990; *Idem. Colonialism and Cultural Identity: Crises of Tradition in the Anglophone Literatures of India, Africa, and the Caribbean*. Albany, NY: State University of New York Press, 2000; *Idem. The Mind and Its Stories: Narrative Universals and Human Emotion*. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2003; *Idem. What Literature Teaches Us about Emotion*. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2011; *Idem. Narrative Discourse: Authors and Narrators in Literature, Film, and Art*. Columbus: The Ohio State University Press, 2013; *Idem. Personal Identity and Literature*. L.; N.Y.: Routledge, 2019; *Idem. What Is Colonialism? L.; N.Y.: Routledge, 2023*.

расследователь, в отличие от героя-мстителя, бескорыстен, свободен от эгоцентрической заинтересованности), неизбежное наказание виновных и утверждение доверия к законному порядку.

Ко второй группе прототипических историй, по Хогану, относятся те, что прославляют такие ценности, как свобода личной привязанности и гуманная терпимость. Это сюжеты о романтической любви, преодолевающей препятствия, истории соблазна и совращения (они описывают эгоцентрическое влечение в отсутствие полноценной привязанности), а также истории воссоединения семей (здесь в фокусе торжество взаимной привязанности, которое может не предполагать сильного эмоционального влечения). Наконец, к третьей группе отнесены сюжеты жертвенности: принесение добровольной жертвы во имя очищения сообщества от порока, проникшего опять-таки извне; здесь прославляются такие ценности, как чистота, цельность, верность.

В прототипических жанрах проявляются паттерны этических реакций, универсальных, но и варьирующихся в разных культурах. Хоган считает, что на основе намечаемой им типологии можно строить кросс-культурные сравнения, и сам предлагает ряд разборов. Набор текстов впечатляет разнообразием: драмы Шекспира, Махабхарата, похожая на детектив средневековая китайская повесть «Продажа риса в Чэньчжоу», произведения индийской писательницы Камалы Маркандайя и австралийки Нути Гаримара, экспрессионистский фильм Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату, симфония ужаса» (1922), драма Тони Кушнера «Ангелы в Америке» (1993), и это еще не все. Каждый анализ сам по себе интересен и служит развернутой иллюстрацией теоретического тезиса. Несколько смущает подчеркнутая непоследовательность в выборе текстов и почти полное отсутствие обещанных замыслом сравнений.

Вторая часть книги посвящена обсуждению природы эмпатии. О том, что воображаемое соучастие в жизни других людей — лучший урок альтруистической морали, со времен Дэвида Юма и Адама Смита написаны многие тома философами и моралистами. В последние десятилетия проведена еще и масса психологических экспериментов для проверки этой гипотезы — в них она скорее подтверждается, но с оговорками. В эмпатии выявлены проблематичные, темные стороны; есть у нее и идейные противники, с которыми Патрик Хоган последовательно полемизирует.

Сомнение в том, что эмпатия — бесспорное благо, высказывают, например, потому, что подозревают в ней банальный вуайеризм, «порнографию сострадания» (*compassion porn*), удовольствие, получаемое от купания в чужом страдании. Здесь многое зависит от того, принадлежит ли читатель/зритель к той же группе, что и страдающий субъект, уточняет Хоган. Воззвание к состраданию внутри группы не так ценно, как призыв к внегрупповой солидарности и надежде; здесь вступают в действие разные мотивации, используются разные риторические стратегии. Если при внутригрупповой эмпатии субъект естественно занимает позицию, «параллельную» страдающему, то сочувствие к «чужаку» часто прячет в себе противоречивый момент злорадства (*Schadenfreude*), самим сочувствующим не осознаваемый. Эмпатию легко спутать и с эмоциональным заражением, которое может становиться массовым, оставаясь при этом эгоцентричным: будучи заражена страхом, я боюсь за себя, тогда как эмпатически сопереживая чужому страху — исхожу из ситуации другого. Бывает еще ложная эмпатия, пестующая самомнение субъекта, но никак не приближающая к другому. Эмпатия может быть ловушкой, которую расставляет зрителю/читателю господствующая идеология, приглашая к бездумному самоотождествлению с вызывающим сочувствие персонажем, — об этом писал в свое время Брехт. Правда, спонтанная эмпатическая реакция может

и вытолкнуть за предел идеологических рамок, вызвав сочувствие к кому-то, кто в жизни невидим, не замечаем. Само наличие критической дистанции, настаивает Хоган, не дает этических преимуществ; преодолеть предвзятость в отношении иных групп, чем наша собственная (или в отношении субъектов, чем-то заведомо запятнанных в наших глазах), нам поможет скорее систематическая, пристальная рефлексия собственных эмоциональных реакций. Спонтанно возникающую эмпатию важно отличать от эмпатии, предполагающей внутреннее усилие (*effortful empathy*, с. 208), и культивировать стоит именно последнюю. В целом, при всех сомнениях в «нравственной безупречности» эмпатии, не стоит ни отрекаться от нее, ни пытаться ее заблокировать, заключает Хоган, — нужно расширять ее «естественные» рамки.

Но что же литература, о которой автор книги в этой части своих рассуждений склонен забывать, но все же вспоминает под конец? Художественный текст позволяет нам подражательно, с опорой на квазинепосредственный воображаемый опыт (*quasiperceptual imagination*) погружаться в ситуации, с которыми мы в жизни не сталкивались и не имеем шанса столкнуться, которые сами затруднились бы даже выдумать. «Пристальное внимание к эмоционально богатым индивидуальным случаям» (с. 217) позволяет, с одной стороны, эмпатически сблизиться с людьми, далекими от нас социально и культурно, а с другой — понимать, как похожие на нас люди способны совершать немислимые для нас поступки. Литературная работа эмпатии посредством слова и рассказа предполагает не только подражание, погружение, удвоение состояния другого, но и его косвенную рефлекссию, толкование⁸. Из этого следует общий вывод о необходимости дальнейших исследований на пересечении научных полей — когнитологии, нарратологии, этической теории и сравнительного литературоведения. Исследования эти обязывают думать о другом «в первом лице», избегая праведнической самоуверенности и псевдообъективных приговоров именем норм.

Можно бесконечно длить старинный спор о том, опираются ли этические нормы на объективные основания (устанавливаемые божественным или человеческим разумом), или они насковзь условны, варьируемы, зависимы от культурного и социального контекста. Важно не решение этой дилеммы в ту или другую сторону, полагает Хоган. Важно даже не то, кто из нас в какую из конфликтующих норм искренне верит. Важно то, допускаем ли мы при этом возможность разумных аргументов в пользу нормы инаковой — готовы ли мы допустить, что за явными и разительными отличиями может таиться и некоторая общность предпосылок, способная в дальнейшем стать основой для продолжения гуманного диалога.

8 Эта возможность, подчеркивает Хоган, исключительно ценна в мире, где в проблему выросло «поточное производство эмпатии». Образы катастроф, заведомо клишированные при всей неповторимости каждой, глядят на нас со множества экранов: острая поначалу эмпатия быстро переходит в онемение чувств, сопряженное с недоумением.